



Вера СТАНЕВИЧ

О «Серебряном голубе»

Ястребиный у голубя вышел в том
рукоделии клюв.

Андрей Белый

Гоголю и Достоевскому Андрей Белый близок в «Серебряном голубе» и внешне, синтаксически, и внутренне — в поле зрения охватываемых им вопросов, и, наконец, в их постановке. Это, так сказать, сближение обязательное, оно очевидно и необходимо.

Но следует упомянуть еще об одном сопоставлении, быть может менее очевидном, но не менее необходимым. И это — с Толстым именно, с некоторыми частями «Анны Карениной»; и если Гоголю и Достоевскому А. Белый близок в особом чувстве России, ее тяжести, и жути, и тайны, и прельстительности этой тайны, то такое чувство России есть лишь одна из черт современного мироощущения; Толстому А. Белый близок в основной исходной точке этого мироощущения.

Как ни противоположны Дарьяльский и Левин, но они не только личности — они символы определенных исканий и как таковые ближе всего в своей противоположности: между ними, вплотную к обоим, лежит разделяющая их граница, перейдя которую один тотчас же становится другим. И если Левин — выражение рационалистического искания Бога, а Дарьяльский — эмоционального и интуитивного, то все же Левиным задана тема: «жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто ни понять, ни определить не может»*, и выполнена она Дарьяльским.

Незадолго перед обращением Левина к Богу Толстой говорит о нем: «Мысли философов казались ему плодотворными, когда он или читал, или сам придумывал опровержения против других учений... Но стоило забыть искусственный ход мысли и вернуться

* «Анна Каренина»¹.

к тому, что удовлетворяло... и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов независимо от чего-то более важного, чем разум» (Ibid.)².

И после той чудесной правды, которая открылась ему в словах мужика: «А Фоканыч правдивый старик. Он для души живет, Бога помнит...»³, Левин говорит себе: «Я искал ответа на мой вопрос (о смысле жизни). А ответ на мой вопрос не могла дать мне мысль; она несоизмерима с вопросом» (Ibid.), и дальше: «Я ничего не открыл, я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина... Неужели это вера? Боже мой, благодарю Тебя!» (Ibid.)⁴.

Здесь кончается Левин и все герои Толстого, здесь начинается Дарьяльский, Россия, голуби.

Все, что вырастает после слов: «более важное, чем разум»; из жизни чувств, из тайны Бога, Которого «никто ни понять, ни определить не может».

Но и добрый помещик Левин и красный барин Дарьяльский в растрепанном венке из еловых веток, движимые одним предчувствием тех форм, в которых мог последовать ответ на вопрос всей их жизни, одинаково «припали к земле», «врезались в нее, как плуг» и не могли уже «выбраться, не отворотив борозды»⁵; оба хотели «радостного, общего с мужиком знания» (Ibid.)⁶, оба обратились в «недра народные» * за той «жизнью души» **, которую можно было бы «слагать с царями и нищими и для которой одной стоит жить» (Ibid.)⁷.

Но Левин спрашивал о вере, Дарьяльский — о Боге; и недра народные послали одному ответ, другому — удар.

Левин спрашивал о личном пути и остался цел, Дарьяльский об общей цели — и погиб. Левин не ищет Бога: кто Бог? Где Бог? Он знает Его, знает разумом, и разумом же бесплодно и мучительно пытается оправдать Его существование, пока не сознает, что «мысль несоизмерима с вопросом» (Ibid.). Его путь — от Бога к вере; и как только он приближается к ней, к религиозной жизни душевной, так и его сознанию данный Бог тотчас же обращается в Того, кого «никто ни понять, ни определить не может» (Ibid.).

Путь Дарьяльского обратный. Он знает только «зов», — «зарю», — «тайну»; «свою дорогую, никем не узnanную тайну о том, что будущее будет» ***. Будущее — Бог; и Дарьяльскому Бог задан. Дарьяльский прежде всего верит. Верит в зарю и тайну, как

* «Серебряный голубь».

** «Анна Каренина».

*** «Серебряный голубь».

верил когда-то в Лассалья и красное знамя, потому что и зря и знамя могут скрывать в себе Бога. Вера во что-нибудь, пафос этой веры — для него состояние необходимое, неизбежное.

Левин всю жизнь думал; и о самом важном — «что он такое и для чего живет» * — больше всего. Дарьяльский не думает во все. Его думы «без воли совершаются в его душе» **, его странные мысли «не приведены к единству» (Ibid.). До последних дней своих он не различает «свинописи от иконописи». «Только чувства все жарче, и от полноты разрывается душа» (Ibid.).

Чувствами охвачен Дарьяльский; хаосом, сменой, смятенностью их; все переживается им как мука или наслаждение. В этой жажде переживательного он становится над людской условностью и даже «падение восхищает, как пролетающих звезд след» (Ibid.).

Но от этого тумана чувств в его душе «вечная тяжесть», он в плену у самого себя, душа разрывается — смертью. От этой тяжести не помогли ни «старинная старина» Древняя Греция, ни Бёме и Экхарт, ни Катина любовь.

Призыв из «Кубка метелей»: «на родину, на неизвестную родину», пронесшийся над душами, как возглас ветра и снега, — в отдельном человеке, в Дарьяльском, сдвоился, стал ему грозить тайной опасностью, тайна неба стала страшной, небо — черным воздухом.

Чистый зов метелей подменился зовом рябой бабы.

Почему Дарьяльский ушел к голубям? Не потому, что он нашел у них систему, содержание, поразившее его: этого он даже и не узнал; но — сладость посулил ему нищий Абрам:

«Вот ошшо прибаутки песельные у нас сладки; а службы тех песен слаще; с поцелуями, с красными причитаньями; вот ошшо у нас женки с грудями сахарными; а тая одежда снегов белей; все друг с дружкой разговариваем про врата адамантовы да про край слаботний» (Ibid.); пообещал Матрену в придачу, и Дарьяльский говорит: «Довольно, я ваш». Сладостью пленила его и Матрена, сладостью неизреченной, не любовной только; но «не только любви и надо ему». Матрена вошла в его душу «тучей, бурей, тигрой, оборотнем»; «усмешка уст ее родила в нем смутную легкую, сладкую жуть и смех и бесстыдство»... «Сладкая волна неизъяснимой жути ожгла ему грудь», и он кинулся за ней «на восток, в мрак, в беспутство», и тотчас поверил, что у голубей разгадка его тайны, его Бога, его «неизвестной родины».

Почему ни мистики, ни Оптиная, ни православная церковь не удовлетворили Дарьяльского? Почему во всем этом не открылась ему тайна его зари, его Бога?

* «Анна Каренина»⁸.

** «Серебряный голубь».

Почему он ушел в сектантство?

Потому что сектантство такого типа, как голуби, есть прежде всего жажда личного религиозного творчества, выявления религиозной активности души в смысле личного, свободного, *произвольного* почина в своем отношении к Богу.

В обряде, в радении — стремление возратить, повторить момент установления культа, как бы некая поправка к установленному искони, виновному в том, что оно не дает места непрестанному личному установлению и изменению.

Но эта устремленность к созданию новых форм вызывает непрестанную как бы одержимость духовную, «все друг с дружкой про врата адамантовы разговариваем»; — непрестанную атмосферу духовного опьянения, восхищения. Отсюда сектанты больше ищут Духа, чем Сына.

Бог их — другой, темный Бог, другой, чем Тот, которого они знают в православной церкви; в виде смутной тайны живет Он в их душе, быть может, только как чувство этих закипающих творческих сил. Но они сознают себя Его священниками, сами хотят совершать Его таинства, сами создавать новую церковь. И к этому они чувствуют себя призванными, — простые, необразованные мужики, сермяжная Россия; «а тайны нонче с нашим братом, с мужиком». Отсюда неясное, но властное чаянье какой-то тайной радости для России, и что эта радость сбудется, так как Россия — это именно они, мужики, и не кто другой, а они что-то знают.

Об этой тайне и «русские зори», и «русские смолы», об этой тайне и душа Дарьяльского.

Восторг расточения своих душевных сил навстречу Духу и спаял Дарьяльского с голубями.

Вот раденье: служит столяр, молится о «восхолублении и ослабжении земли»; «тот поднимает на него очи, та исподлобья взглянет — не теплом и не хладом, но силой и светом обольет и того и ту; уж вот тот и уже та, и это, и это пресветлое лицо за столом! Все теперь восседают за столом в радуге семицветной среди белой райской земли, среди хвой и зеленого леса и под Фаворскими небесами, и столяр, некий муж светлый, преломляя, раздает просфоры и глотает из кубка (не из чаши вовсе) вино Каны Галилейской и нет будто вовсе времен и пространств, а вино, кровь, голубой воздух, да сладость» (Ibid.). Здесь ли не место Дарьяльскому?

Но за восторгом служения забывают того, кому служат.

И уже молится столяр за то, «чтобы тайная радость России сбылась, как того не мир, а он, столяр, хочет».

И уже воздух, дух обращают «там — в деньжища, там в мебель»...

И уже грозитя Сухоруков: «греха-то ведь нет...

Да что же есть, коли греха нет?

Да ничего нет.

А праведно Судящий на небеси?

Чего съ?» (Ibid.).

И — отравлен Еропегин, задушен Дарьяльский.

Небо — черный воздух.

Очерчивая лик, возносятся над телами, напряженные творческими силами, души, возносятся беззаконно и произвольно, и вместо голубя на них спускается ястреб и клюет распаленные сердца: «ястребиный у голубя вышел в том рукоделии клюв».

Но если все это так для «мужиков, ражего, рыжего и с сипотцей», а на другие возможности для них в «голубе» не указано, то зачем Дарьяльский «в хаосе, в навозе жизни народной», любовник рябой бабы, будущий отец «дिति»?

Для него это испытанье, хотя и купленное ценою жизни. Все то, к чему он влекся, как к наибольшему блаженству — к переживательной стороне его зари, его тайны, — он получил, получил как русский, неизбежно и глубоко связанный с корнями народной жизни, носящий в себе те же ее стихии, и переживший все это только так, как народ, в тех же образах и условиях места и действия. Если Дарьяльский хотел быть народным, он не мог миновать этой рябой бабы с отвислым животом, этих деревень, сплошь зараженных дурной болезнью, этого пьяного попа Вукола с его взятием Карса, этого столяра-магнетизера, который «вынимает» души; потому что все это — Россия.

И еще больше: он прошел к ее сердцу и услышал там врага и — отпрянул.

Увидел «свинопись» — и вернулся.

Он сделал то, чего не могли сделать голуби: они не дошли до «сердца» и не отпрянули. Недаром голуби наметили его к совершению таинств; кроме своего, общего, они чуяли в Дарьяльском еще что-то другое.

Дарьяльский искупил свою «тяжесть», искупил тем, что, не боясь гибели, бросился навстречу своей тайне «в мрак, в беспутство»; что не побоялся потерять душевную чистоту, возможность спасения, признав, что «в борьбе за будущий лик ему позволено все и нет над ним никого никогда! И за это ему был дан возврат к голосу, искони знакомому: «Приди ко мне, приди».

Не сладостный огонь зари, восходившей над Кудеяровой избой, засветился ему, а «вечер осенний», прохладный, тихий, другая заря — другого искания.

Тема возврата — лирическая тема «Голубя», как и «Симфоний». «Вечер осенний — хорошо ли ты помнишь, как он бывает тих... Когда многие дни душу душивший страх улыбается безобидно тебе последней зарей: да меня и нет вовсе... И душа Петра омылась в слезах» (Ibid.).

.....

Что же противопоставляется в «Серебряном голубе» Востоку и России? Какой Запад?

Прежде всего Запад, так сказать, официальный, — усталой, угасающей культуры, где закат «выжат» в книгу: это — грустный барон Тодрабе-Граабен, у которого все в прошлом, это Запад Левина, пытающегося разумом доказать бытие Бога и изнемогающего от тщетности своих попыток, и рядом — другой Запад — отношение которого к России только смутно намечено, но в котором автор хочет дать почувствовать нечто скрытое и живое. Внешне этот Запад выражен в Шмидте; но Шмидт дан лишь как противопоставление.

Мы узнаем только о тех книгах, которые он изучал, да о том, что он отмечал ход жизни Дарьяльского, словно знающий судьбу. Еще известно, что он рано переезжает на дачу и живет до глубокой осени, но за этим немногим все же чувствуется какая-то простая и тихая, но совсем другая, чем в окружающих его полях, жизнь.

И суть этой жизни раскрывается в Кате; в ней действительно чувствуется какой-то ритм, гармония, мера в поступках и словах: «если глядит — то как будто и не глядит, а слышит — не слышит; а уж если она что знает, то вовсе как будто не знает она ничего. Ровная и всегда тихая и с улыбкой» (Ibid.).

Катя чужда окружающей ее России. Она и не знает ее, и не способна к безудержным порывам Дарьяльского, испепеляющим душу. Ее душа сбережена, сохранена для чего-то совсем другого.

«Умна ли Катя?

Да право, не знаю, да и нужно ли знать?

Много ли знает Катя наук?

Ни одной. Она успевает в искусствах?

Нимало».

Катя не любит ученых людей, а предпочитает им свою глупую подругу Лелю да Евсеича, «улыбается цветам, детям да цепным псам». У Кати нет проблем, внутренних противоречий, нет устремленности душевной к одной, больше всего любимой цели. И если Дарьяльский весь — становление, весь — личное достижение, то Катя дана вся сразу, она родилась такой. Страдание от жизни и столкновения с ней она разрешает этим своим чувством меры и ритма. Она прощает Петру его прошлую жизнь, бабушке — ее злую обиду, из-за которой Петр ушел... И над заплакавшей, бессильно заснувшей бабкой Катя взрослее, мудрее. Но Катина мудрость — бессознательная и как будто отрицательная; она знает словно только, что все окружающее ее не то, совсем не то, и не нужно ей это окружающее. Не это нужно. И живет так, будто другое уже есть. Но знает ли она другое? Нет, не знает, другого еще нет, есть только способ, размер жизни, сбережение души. В Гуго-

леве — «чисто там все и непорочно там, хотя нет тайного зова, издалека страстного, а вблизи грязного».

А зов не покинул Петра, зов был над ним и в тот вечер, когда он понял, что надо идти другими дорогами. В Гуголеве нет «тайного зова», и Катя, хотя и любит ее Петр, «не та заря, да и встретить ту зарю нельзя в женском облике». Почему же «сестрицей родненькой» стала ему рябая баба, а не Катя? — «Если любя твоя не темноглазая писаная красавица... с личиком легким, с поцелуем не смеятым... если когда-то прошелся на ее лице оспенный зуд, если волосы ее рыжи, груди отвислы, грязны босые ноги и хоть сколько-нибудь выдается живот, а она все же — твоя любя, то, что ты в ней искал и нашел, есть святая души отчизна. И ей ты, отчизне ты заглянул в глаза, и вот ты уже не видишь прежней любя, с тобой беседует твоя душа и ангел хранитель над вами снисходит крылатый» (Ibid.).

Почему с Матреной пережил Петр самое высокое в любви? «Сестрицу родненькую, святую души отчизну»? С Матреной Дарьяльский все же искал близости в Боге, сходилась с ней для общности душ, не только в их земном блаженстве, искал быть с ней в «души отчизне», «на неизвестной родине». И тем более это было так, «что черный оспенный зуд прошел по ее лицу», «волосы рыжи» и «груды отвислы». Сквозь порок и безобразие прошел Дарьяльский и увидел ее сестрицей родненькой, близкой совсем по-иному.

В безумную, в мучительную пору жизни встретился Дарьяльский с Матреной, на миг они были в одном и на миг он увидел ее не «зверихой», а «духиной». И, может быть, этот миг перетянул многое на весах его судьбы. С Катей он еще не встретился, с Катей он не был в одном. «Есть на свете одна Катя». Чтобы встретить ее, нужно идти «на Запад от Гуголева, прямо, все прямо», и вернуться в Гуголево «с Востока из степей азиатских: только тогда увидите вы Катю» (Ibid.). Чтобы встретиться с ней, с простым и прекрасным размером ее жизни, нужно побывать в «степях азиатских» и из них вернуться; и Петр вернулся и, быть может, теперь встретился бы с Катей, но — умер.

Дарьяльский погиб не от злого умысла, не от недоверия и зависти Кудеярова; он погиб от самого себя, от действия какого-то закона, по которому нельзя безнаказанно смешивать «свинопись с иконописью». Дух его очистился, — над телом совершилось возмездие и голуби были только орудием. И они совершили над ним преступление беззлобно и просто, потому что так надо было для голубинового дела, потому что «все позволено», нет греха. Потому что наивно и святотатственно привыкли вместо «светлого мужа» поклоняться «бараньей обглоданной кости». И в этой жуткой их освобожденности от различения добра и зла они стояли над телом «беззлобные, — без жестокости, — с непокрытыми лицами... — с любопытством разглядывая то, что они наделали.

- Сердешный.
- Недодали.
- Коншается.
- Сконшался.
- Царство ему небесное» (Ibid.).

И та же Аннушка, которая отравила Еропегина, проводила в смерть и Петра и вознесла над ним серебряного голубя; и в эти последние минуты перед смертью, когда душа не может ни лгать, ни ошибаться, Дарьяльский и Аннушку почувствовал «родненькой сестрицей». Где-то в далеком прошлом или будущем — он вместе с ней, одной из его убийц.

Спасение есть.

Где же спасение для России? Россия, изображенная в «Серебряном голубе», — это прежде всего Россия полей и лесов, где «бородатые живут мужики и многое множество баб», — Россия города Лихова, с «бездной пыли» и «бездной грязи». Другой России в «Голубе» не дано. И в этих данных ее чертах нужно искать ее настоящее и ее будущее. Настоящее это внешние формы ее, вид, образы; это — мужики: «ражий, рыжий и с сипотцей», это Лепеха, поп на велосипеде, это столяр с бараньей обглоданной костью вместо лица, это навоз, хаос, безобразия.

Будущее, возможность будущего — это внутреннее содержание, скрытое за «свинописью», это — русские зори, русские сосновые смолы, избыток молчания, духометное слово, это какая-то тайна, чувство тайны, которое за всем и после всего царит над полями и селами. Всего этого живущий в городе не поймет; придет в деревню и увидит перед собой только «грязь, мрак, солому, кучу, да из соломы грязного мужика насуспенное лицо». Но здесь, в этом чувстве тайны видится — верит автор — и возможность того, что «будущее будет»; — было бы, если бы перевес не взяла «баранья обглоданная кость, рябая баба», но только в более страшном образе, если бы незащищенной тайной, если бы душами, «совершающими свой полет вдали от земного образа», не овладел кто-то другой, ненавидящий Россию, не погрозился бы Лиховым, Сухоруковым, страшными словами «ничего нет», «все позволено», тайным врагом не погрозился бы из самого сердца народного, подтачивая самое это сердце темными и страшными делами — огнем, кровью, кощунством; населяя комнаты шушуканьем, поле — бесами, прикинувшимися кустами. И Россия опять рябая баба, страшная рябая баба. Выхода, спасения от этого состояния в «Серебряном голубе» не указано. Как сама Россия себя спасет — быть может, мы узнаем из остальных частей трилогии. В этой час-

ти все положительное дано в образе Запада, Запада Шмидта и Кати. От Шмидта мы знаем о каком-то другом религиозном образовании, о культуре сознания, быть может, о примиряющем пути между Дарьяльским и Левиным, о каких-то далеких друзьях России. От Кати — о другом порядке жизни и ритмическом движении в ней, об уравновешенности чувств и переживаний; о жизни мудрой и простой. Но где же переход к этому? Почему средство спасения указано только в Западе? Неужели для спасения России ей необходимо привить Запад? Как может совершиться это соединение? Где возможность перехода от жизни Лихова, Целебеева, Матрены к тихой и мудрой жизни Кати? Не потому ли, что непредставим этот переход и чужда Катя — России, и названо Гуголево Западом? Или облик сермяжной России, навоз и хаос — только испытание для нее, как все это было испытанием на личном пути Дарьяльского, но не застигнет ли и ее на этом пути — смерть?

Создается безвыходное: нужно быть в степях азиатских, чтобы встретиться с Катей; но, побывав в них, душа народная Кати не встречает, а разъедается тленом. Где же выход?

Дело в том, что в «Серебряном голубе» дана не вся Россия. Пропущен какой-то ее уклон, какое-то прошлое. Россия взята слишком современно, в потрясающей убедительности ее кошмаров, вне ее прошлого, вне ее целого. Речь идет все время о будущем, которое «будет», о светлой тайне, которая должна осуществиться, но как только делаются попытки к ее осуществлению — обращается в свою противоположность. Мне кажется, мы все чувствуем, что это не так: есть уверенность в том, что эта тайна в России уже когда-то осуществлялась...

Одна женщина в рассказе Рильке говорит о том, что, глядя на великое искусство прошлого, она вдруг поняла, что в нем был когда-то Бог и что поэтому он будет опять⁹. То же хочется сказать и о России: Бог, о котором вещает заключенная в ней тайна, уже был когда-то. Его место за Ним, нет врага в сердце России. И если, как говорит Рильке, Бог рождается в темноте нашего сердца, то посмотрите в солнечный день на темные впадины Кремлевских стен, и вы поймете, что Бог уже был в России. Была уже когда-то духовная традиция, осуществление тайны, «восхолубление» земли.

С этим смутным, но несомненным прошлым неразрывно связана Россия; без него немыслима ни она, ни правильное понимание ее. Найти, развить, повторить эту традицию, свою, особенную — вот задача настоящего времени. И, быть может, тогда — Запад будет не нужен.

